

Стенные часы в коридоре «секретного дома» в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости пробили семь. Бой часов слышен в камерах.

Николай Гаврилович давно не спит — одолевает головная боль. К тому же в камере холодно: неисправная голландка плохо греет, а за ночь она вовсе остыла.

Холщовая простыня влажна от сырости, которая не переведется тут круглый год. Сдвинув байковое одеяло, Николай Гаврилович усаживается на сосновой кровати, окрашенной в зеленый цвет. Еще не рассвело, а в каземате по-настоящему светло и не бывает. Прорезанное под потолком окошко на три четверти замазано мелом.

Начался арестантский день. Рука тюремщика отодвигает зеленую шерстяную занавеску, которая прикрывает со стороны коридора «глазок». Затем со скрипом открывается дверь камеры № 11. Дежурный приносит в кувшине воду для умывания. В полудворенную дверь врывается кислый запах кухни. Видно, как прогуливается по коридору второй дежурный с обнаженной саблей у плеча.

Пока Николай Гаврилович умывается, дежурный отправляется на кухню — она совсем рядом — и приносит на деревянном подносе завтрак — кашу в оловянной тарелке, чай в оловянной чашке.

Николай Гаврилович терпеливо ждет, пока солдат покинет камеру и щелкнет замок. Оставшись один, он отодвигает завтрак на темный край стола, освобождая для работы ту часть его, на которую падает немного мутноватого света.

Как обольстительно пахнет еда! Сердце начинает биться учащенно. Может быть, накрыть тарелку листом бумаги, чтобы исчез дразнящий аромат?

Нет, это безволие. Он не станет накрывать кашу — впереди еще, может быть, пять, а то и десять дней голодовки. Голодовка — это бой, схватка. Ее надо выиграть — у начальника III отделения генерала Потапова, у его величества, царя всея Руси. Надо заставить всю эту шатацию зашевелиться, быстрее закончить затеянное ею «дело» Чернышевского. И еще надо заставить их разрешить ему, наконец, свидание с женой — с Ольгой, с самой замечательной на всем белом свете женщиной...

Хочется есть? Он сейчас устроит себе пиршество. Николай Гаврилович придвигает к себе стопку испеченных листиков, принимается читать пятнадцатый раздел второй главы романа «Что делать?», начатого почти два месяца назад за этим же столом.

Писать роман ему доставляет неизъяснимое удовольствие. В эти часы он покидает каземат в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости и отправляется к Розальским. Сюда он привел расчудесного Лопухова. И в этом, пятнадцатом, разделе он затеял беседу с крайне неприятной ему Марией Алексеевной, Верочкиной мамой.

— Позвольте мне быть невежею, Мария Алексеевна, — говорит Лопухов, —...позвольте мне напроситься обедать у вас нынче и позвольте сделать некоторые поручения вашей Матрене...

Лопухов оторвал клочок бумаги от завалывшегося в портсигаре письма, вынул карандаш и стал писать. Дежурная Матрена забежит в погребок Денкера и купит сладенького мараскина, померанцевой водки, злая и шампанского. Пусть принесет из кондитерской пирог из грецких орехов...

Обед у Марии Алексеевны на этот раз был парадный, барский. А после обеда Дмитрий Лопухов медленно пил горячий, душистый чай...

«Кто же после таких яств станет есть одиннадцатикопеечный арестантский обед?» — Николай Гаврилович улыбается этой мысли.

Зеленая занавеска над глазом в дверях поднялась. Дежурный предлагает «личности № 11» прогулку.

Николай Гаврилович отказывается от нее. Он только просит зажечь ночник — в камере совсем темно.

Федор Петрович Окедь каждый раз смотрел на Чернышевского с нескрываемым любопытством. Ведь первый случай голодовки в истории российской тюрьмы!

— Стало быть, вы отказываетесь принимать пищу? — спрашивает Окедь, уже стоя у двери.

— Отказываюсь, — спокойно отвечает Николай Гаврилович, — и не стану есть до тех пор, пока не удовлетворят моих справедливых требований. Они начальству известны. И вам, надеюсь, также.

Доктор утвердительно качает головой и удаляется.

Теперь никто не помешает Николаю Гавриловичу до самого обеда — добрых три часа.

Итак... Мария Алексеевна, жадная до питья, хлебнула за счет Лопухова сверх меры и поплелась к

имени, ни лица, ни голоса, но он уже начинал жить, вырываясь из хаоса мыслей и чувств, обретая плоть и душу.

Так рождался Рахметов. Вначале он представлялся ему в обличье Павла Александровича Бахметева. Отличный был человек! Николай Гаврилович вспоминает свою последнюю встречу с ним.

Летний вечер. К нему на квартиру пришел молодой человек. На нем был потертый костюм, в руках клетчатый сак. Это был земляк-саратовец, тамошний помещик Павел Александрович Бахметев. Молодой человек начал новую, совсем новую жизнь. Для всех людей, для всеобщего счастья. Он продал недавно унаследованное поместье и вот едет далеко-далеко — на Тихий океан, на Маркизские острова, к полинезийцам. Там он создаст земледельческую колонию — коммуны. Люди-братья будут возделывать хлебное

## ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РАССКАЗ

# УЗНИК № 11

К 150-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского

себе. Милый, добрый Лопухов тихонько входит в комнату Веры Павловны, Верочки...

Верочка... Перед глазами то чудесная девушка, которую он хорошо знал, Мария Александровна Обручева, то Оленька. Вот они стоят, улыбаются. Вдруг сливаются в одно существо — Верочку: чистую, мечтательную, гордую.

Он читает конец восемнадцатого раздела второй главы. Счастливая и благодарная Верочка говорит своему избавителю Лопухову:

— Только одно переменялось, мой миленький, что я теперь знаю, что из подвала на волю выхожу.

Неумные шалуны (он так называл чиновников III отделения в официальных письмах) держат его в этой русской Бастилии, а он неограниченной властью художника выпускает хороших людей на волю, и в этом — его неодолима свобода, на которую не надеть ни смиренной рубахи, ни кандалов, ни наручников.

Стынут ноги: под прогнившими балками пола — вода, болотная зыбь. К тому же ноет спина. Подвигаться бы, но он никогда не любил ходить по комнате. Он полежит — 15 минут будет довольно. Настоящий отдых — это перемена занятий. Через 15 минут он возьмется за перевод очередной главы «Истории XIX века» Гервинуса — для «Современника»: Некрасов ждет!

Снова подают голос куранты — теперь бьет двенадцать. Звучит знакомая мелодия. В камеру входит солдат. Уносит давно остывший завтрак, затем на том же деревянном подносе приносит обед — щи да кашу, нарезанный на кухне белый хлеб. И снова щелкнул замок. Николай Гаврилович как бы не заметил дежурного. Он продолжал переводить Гервинуса.

...Голод делает людей вялыми и сонливыми. Николай Гаврилович на седьмые сутки голодовки был полон энергии. Правда, легли темные круги под глазами, отяжелели ноги, противная слабость ощущалась во всем теле, но мозг его был истощим.

Он испытывал ни с чем не сравнимую радость творчества. В последние дни в его камеру, незамеченный постами и караулами, вошел удивительный человек. Собственно, он родился здесь, в камере, в душе художника. Художник собирал его, лепил, высекал из гранита; человек то приближался настолько, что обжигал своим дыханием, то отдалялся. У него не было еще ни

дерево, выращивать кокосовые пальмы, сахарный тростник, хлопок и табак. И будут равны.

Павел Александрович покинул Россию. Побывал у Герцена в Лондоне, оставил ему часть своих денег на дело социалистической пропаганды в России и уехал на Маркизские острова.

Что сталося с ним, милым мечтателем? Может быть, полиция французских колонизаторов объявила его сумасшедшим и упрятала в желтый дом?

Образ Рахметова выростал, утверждался. В его жилах текла кровь и Николая Добролюбова, и самого Чернышевского, и многих других прекрасных людей России. Он писал о Рахметове с радостным волнением и однажды заметил, что Никитушка Ломов, как прозывался Рахметов, вдруг отделился от него. Он уже не был больше его выдумкой — он стал человеком во плоти, реальностью. Раньше, описывая какой-то жизненный шаг Рахметова, он спрашивал себя: «А как поступил бы я?» Теперь же, собираясь написать очередное письмо-ультиматум начальству, он задавался вопросом: «А как поступил бы Рахметов?» Он уже не придумывал его, а просто рассказывал о прочно вошедшем в его жизнь человеке, рассказывал как надежный свидетель, как верный друг, посвященный во все тайны большой души Рахметова.

Десять дней кряду тюремщик уносил пищу из камеры Чернышевского нетронутой. Наконец начальство пообещало ускорить решение дела, позволить свидание с женой, и Николай Гаврилович прекратил голодовку.

Шли дни. Силы понемногу прибывали. Ему это было необходимо, чтобы не огорчить Оленьку своим видом.

Первые две главы «Что делать?» были уже перебелены и пошлы по начальству. Что-то будет с ними? Раскусит ли генерал Потапов этот орешек? Догадается ли, что несет в себе роман? Он продолжал писать, отказываясь от прогулок, чадами не отходя от стола.

23 февраля утром Николая Гавриловича препроводили в приемную коменданта крепости инженер-генерала Сорокина. Он вошел в комнату и увидел на скамье у стены Оленьку.

Ольга Сократовна бросилась к нему. Он целовал ее руки, лицо, гладил ее волосы. Они опустились

на скамью, и только теперь Николай Гаврилович заметил, что за столиком в углу сидит нижний чин, приголовившийся записывать беседу.

Николай Гаврилович был весел, шутил, уверял Оленьку, что ему живется прелюдно и только не хватает ее... Ольга Сократовна не сводила глаз с лица мужа. Как оно изменилось! Встретить она его на улице, пожалуй, не узнала бы.

— Какая у тебя выросла борода, Николая, — сказала она, грустно улыбаясь, — и усы.

— Что ж, — улыбался Николай Гаврилович, — превосходная борода, рыжачая, не так ли?

Он все целовал ее руки, называл Лялечкой, расспрашивал о здоровье, о детях.

Они сидели долго — около двух часов. Николай Гаврилович говорил о своих замыслах, о том, что пишет и переводит. Ольга Сократовна порадовала его:

— Цензура, Николая, разрешила напечатать первые две главы твоего романа. В мартовской книжке «Современника» их непременно поместят.

Он был счастлив. И снова шутил. Теперь уже по поводу отчаянных попыток нижнего чина уразуметь суть разговора и записать его. Тот сердился, просил говорить громче и не так быстро. Николай Гаврилович и Ольга Сократовна с трудом сдерживали смех.

Вернувшись в камеру, Николай Гаврилович лег на кровать и закрыл глаза. Он еще ясно слышал голос Ольги Сократовны, видел ее маленькие крепенькие ручки, ощущал их тепло. В эти минуты он решил завтра же написать письмо начальству, потребовать нового свидания с женой.

В этот же день к нему в камеру пожаловали члены следственной комиссии. Они были так любезны! Они осведомлялись о здоровье господина Чернышевского, спрашивали, нет ли у него претензий, обещали, что скоро, через несколько дней, господин Чернышевский будет, вероятно, освобожден.

Он понимал, что эти фарисеи лгут. Он только не знал, зачем понадобилась эта ложь? Слушая медоточивые речи чиновников, он вспомнил слова начертанные под изображением Христа на иконе, стоящей на подоконнике камеры: «Приидите ко мне все труждающие и обремененные и Аз упокою вы».

Вот они, божьи посланцы, успокоители!

Когда чиновники ушли, Николай Гаврилович долго не мог взяться за перо. Чтоб отогнать скверные мысли, он стал читать Гейне — томик его стихов лежал на столе.

\* \* \*

Наступила весна. Чуть светлее стало в камере. С потолка падали на пол капли. Николай Гаврилович был им рад: это капли жизни, бесконечной, вечной!

...4 апреля 1863 года он завершил роман «Что делать?», а назавтра начал повесть «Алферьев».

Роман «Что делать?» печатался в «Современнике». В майской книжке были опубликованы четвертая и пятая главы. Чернышевский верил, что слово его западет в молодые души, будет мечту, веру в счастье. В сущности — пала Бастилия! И Чернышевский, сильный, непобежденный, шагнул по просторам земли.

М. ЧЕРЕПАХОВ.